

**Собеседник**

Наседкин Николай Николаевич

**Ведущий**

Лепешонкова Нина Викторовна

**Дата записи**

Беседа записана 19 июня 2014 и опубликована 21 ноября 2014.

**Введение**

Художник Николай Николаевич Наседкин вспоминает первую встречу с миром искусства, представшим перед ним в облике пьяного одноногого художника, к которому наш собеседник ходил знакомиться в соседнее село. Некоторое время Николаю Николаевичу удалось поучиться в Федоскинской школе миниатюрной живописи, однако систематического художественного образования он не получил, уйдя из училища незадолго до защиты диплома. Имея освобождение от службы в армии по заключению психиатра и живя без прописки, наш герой некоторое время работал дворником в Ленинграде и путешествовал по Кавказу, где общался с теософами и буддистами. Главным сюжетом первой беседы является повествование о работе санитаром в ленинградском психоневрологическом интернате, что подтолкнуло художника к созданию серии фантастических по выразительности портретов.

**Нина Викторовна Лепешонкова:** Мы будем с вами вести беседу о вашей жизни, о том, как вы сформировались, что на вас влияло, как все начиналось. И я бы хотела спросить об истории вашего рода. Откуда вы приходите? Расскажите о своих родителях, бабушках, дедушках.

**Николай Николаевич Наседкин:** Я из Воронежской области, родился в селе Алешки. Это была Балашовская область, потом поменялась, а так она всегда была Воронежской губернией. Село Алешки — это огромное поселение юго-востока России, до революции в нашем селе насчитывалось около тысячи труб. Если в семье пять-семь-десять человек, можно представить, сколько там жило народу. Наши места пограничные, но не казаки. Там было вперемешку: и крепостные помещичьи крестьяне, и свободные гражданские, то есть государственные, крестьяне. Мои предки — государственные крестьяне, то есть они не были зависимыми. Но это тоже ситуация сложная и, может быть, они были более заняты. Более заняты и более ответственны к выживанию: как выжить и как работать, как прожить и прокормить, потому что жилось всем сложно. Это вот как бы предыстория. По фамилиям, которые у нас: это Сомовы, Воробьевы, Наседкины, Лебедевы... По мнению моей знакомой историка-искусствоведа Анны Борисовны Матвеевой, мои далёкие предки пришли из областей Пскова, Новгорода. При Иване Грозном, в режимные, времена, крестьяне мигрировали, уходили. Предположительно, что оттуда пришли. И так как это по тем временам были недоступные места, они свободно жили. А основание этих сел — это где-то XVII-XVIII век и раньше.

Я, к сожалению, дальше своего прапрадеда не знаю: куда они уходили, и кто они были. Мой дед по отцовской линии был для меня главным, он при живых родителях был для меня и отцом, и матерью. Другого моего деда, по маме, даже моя мама не помнит: он умер очень давно. Дед Егор, «свободный» земледелец, очень любил землю. И при других обстоятельствах он был бы как раз тот самый кормилец, которого мы так долго ищем и воспитываем. И таких было много. В раскулачивание он был раскулачен. И повторил где-то судьбу семьи Твардовского, потому что это было характерно для того времени: после этого раскулачивания раскатали избу, уничтожили сад, — все было уничтожено.



**Их как-то не сразу отправили на этап, они ушли — или дали им уйти, — и они ездили просто как цыгане по области, целый год.**

Потом «перегиб» прошел, Сталин объявил послабление, и они вернулись на свое место: село Алешки, улица Грачевка — мне очень нравится. Я чуть-чуть сейчас перескочу в настоящее время: я этой весной, на Пасху, ездил... Я виноват, очень долго не был на своей родине, лет пятнадцать, наверное. Мы там с моими родственниками побывали и нашли останки дома, где я родился. Там все брошено, такое состояние — после войны так не было. Разрушенные дома. Где-то жизнь есть, но состояние брошенности повсюду.

И они вернулись и там продолжали как-то жить, выживать в этих условиях советских. Но дед в колхоз так и не вступил, был сам по себе, и как-то они прожили все это время. В свое время, послереволюционное, наверное, в 1920-е годы (это как штрих к тому, что могло получиться) мой дед со своим братом купил в складчину трактор. До всяких большевиков. Они, конечно, были бы фермерами. Они любили эту работу, они ее понимали. Но потом все, естественно, закончилось — известно, каким образом. И этот брат его, Василий Григорьевич, после войны сидел по 58-й статье, за антисоветскую пропаганду. Потому что он в подпитии говорил, что власть советская от антихриста. Он из того места, в котором выпивал, не дошел до дома, был арестован — тоже штрих к тому времени. И потом, уже в хрущевское время, был реабилитирован, вернулся. Он прошел все этапы Колымы, как раз находился среди той интеллигенции, на его судьбу это очень сильно повлияло. Так что он остался неграмотным, но все равно в нем чувствовалось присутствие тех людей, среди которых он находился. И он всю жизнь работал при церкви. Тоже сам по себе. У меня есть его портрет, но я, к сожалению, его не нашел. А дед Егор мной написан по памяти. И очень рад тому, что эта работа была выбрана, куплена и находится в Третьяковской галерее.

**Н.Л.:** Хорошо.



Николай Наседкин с дедом Егором Григорьевичем Наседкиным. 1959 г.

**Н.Н.:** Бабушка Наталья (жена деда), как я их помню и как рассказывал мой отец, — была счастливая пара по тем временам. Было уважение друг к другу и понимание. Она была домохозяйка. У них было... *(считает)* пятеро детей, они все выжили, никто не умер, это тоже очень показательно.

Мой отец 1924 года рождения. Все на их плечах было, и он помнит все эти их разъезды, когда они уезжали, скитались, потом возвращались. Работа и помощь семье у них были в крови. Мама моя тоже из этого села, но с другой улицы. Наши улицы огромные, до нескольких километров. Другая улица, где родилась мама, называется Польшовка. Отец — Грачевка, а мама — Польшовка. С отцом они познакомились в 1952–1953 году. Отец после войны был контужен, у него была потеря речи. Но к тому времени он восстановился, и потом не наблюдалось никаких дефектов. Он с очень сильным характером, прошел войну и награжден орденом Славы, который сейчас, потерянный военным временем, находится у нас.

Они с мамой тоже родили пятерых детей. И, как могли, воспитали, и не просто, как могли, — они нам отдавали все. Не мешали никому, чтобы как-то встали на ноги, нашли себя. В отношении меня это поиск себя как художника, на протяжении всей своей жизни они помогали.



**Они для меня как для Ван Гога Тео. Это мои спасители, особенно мама. Они для меня святые люди.**

Есть их портреты, я стараюсь как-то возместить затраченное на меня, чтобы хотя бы в подписях они остались, в подписях, портретируемых — это и родители, и родственники, и друзья, и соседи — по воронежской моей родине и по другим областям — скажем, откуда родом моя жена. Ее родители — это Вологодская область, это Арзамас, Муромские места. Все эти регионы как-то мной охвачены. Не мне судить, но большинство этих тружеников и замечательных, уникальных людей написаны. И кто-то из них находится, к моей радости, в музее, они хоть как-то, для памяти хотя бы сохраняются. Это что касается корней.

## Детские впечатления

**Н.Л.:** Расскажите, пожалуйста, свои первые детские впечатления, быт и окружающую среду. Какие-то яркие впечатления из детской жизни. Все, что приходит на ум. Образ семьи, какие-то слухи, зафиксированные детским сознанием.

**Н.Н.:** Что здесь можно сказать? Мои первые впечатления связаны с дедом. Я был болезненный ребенок, у меня был диатез, который потом перешел в аллергию, и первые впечатления связаны с дедом, потому что я был первенец, его внук, и он всячески помогал молодоженам, так как семья огромная. И первые мои ощущения связаны с ним. Трава как огромный лес. Это значит, я был совсем маленький, и мы с ним ходили по окрестностям. Я помню, как он сажал подсолнушки: ломом пробивал в земле ямку — он в моем сознании был великан — и бросал туда семя. Потом вырастали подсолнухи. Вот такие

воспоминания. Потом его любовь к животным, особенно к лошади. Для него лошадь была каким-то священным животным: это первый друг, кормилец, помощник. Я вспоминаю, что он мог человека побить, если лошадь была неухоженная. Вот такое было его отношение. И для меня образ справедливости и труженика — это мой дед. Я его звал «дека», от «дедушка». А в сознательном возрасте это были родители, — но дед заполнял собой все. И потом первые сказки, первые рассказы. Он очень любил читать, был записан во всех библиотеках. Но главными книгами его были Евангелие и Библия. В селе было несколько стариков — я пытался что-то на эту тему написать, но получился в итоге портрет деда, — они собирались и рассуждали... Заглянуть бы в то время и послушать их, узнать, о чем они говорили... Смерти они не боялись, отношение к ней, было совершенно спокойное — нам бы такое. И если говорить о религии, то здесь, для меня роль деда двойственна. Он был верующий человек и еще певчим, участвовал в церковных церемониях. И в тот период, когда я родился, — это был 1954 год, потом оттепель хрущевская, — для церкви был сложным временем.



**Это был вызов, если человек идет в церковь. Дед был всегда таким, он ходил в нашу Алешковскую церковь: она не закрывалась, надо отдать должное.**

Так получилось, что нашу церковь никогда не закрывали. Наш ближайший город — Борисоглебск, по большим праздникам дед выезжал туда. Естественно, я с ним везде бывал. А для меня это было сложно, понимания никакого не было. Он к этому относился совершенно свободно, никакого насилия не было, я был его сопровождающим. Я мог даже в школу не пойти, но вот не пойти играть — это мне было уже сложно. Здесь роль церкви была двойственная. С одной стороны, это было протестом, я понимал это, но в церкви мне было нечем заняться... И с другой — на подсознательном уровне — зарождением глубинной веры. Может быть, я таким рожден, без этого себя и не представляю. Вот вы спрашивали про впечатления, я сейчас буквально вспомнил, как мы идем ранним утром... Мы из Алешков переехали, дед и мои родители, на станцию Народная, бывшая Волхоновка (так произносили её местные жители) князей Волконских, потому что Волконские там поселились после возвращения из Сибири. Станция Волхоновка ими и построена. И мы там жили. Дорога с этой станции в Алешки — это километров пять-шесть, и утром мы с дедом туда отправлялись. Я помню — солнечное такое воспоминание, — как мы идем по улице. Улицы в наших местах огромные, от тридцати до пятидесяти метров в ширину, длиною в несколько километров, как я уже говорил. Мы идем через Полюновку, а в начале улицы кроют крышу. Такое солнечное замечательное утро, ну просто благодать! И мужики кроют крышу. И слышим, нас окликают отец. Он тоже кроет крышу. Я пытался это написать, но не получилось. Это была веселая работа, мужики на длинных вилах подавали золотистую солому, а отец её укладывал, он был мастер на все руки. Крыть соломой — характерно тоже для наших мест, как и на Украине, так и для нас. У нас такое строительство: основа деревянная, обмазанная глиной. Соединение юга с северной Россией. Скажем, наши усадьбы, дворы, они отличаются от Московских, Вологодских... Если здесь это дом-корабль, который все в себя вбирает, то там это — крепость. Наш дом огорожен сараями, огородом, гумном и так далее. Это территория большого обособления. Северные деревни компактные, а наши свободно разбросаны на большом расстоянии. Селились у нас от души, как пришлось, — по структуре поселения это видно. Я вам вчера говорил, что у нас там протекает река Карачан, «черная вода» с тюркского. На берегу Карачана сохранился, уцелел огромный курган. Таких я в Крыму не видел. Его ширина триста-четыреста метров. В высоту — метров пятнадцать-семнадцать. Он тоже войдет в мою работу, и это тоже очень важно. Я к тому это говорю, что я, как земледелец, пытаюсь брать то, что выросло на земле. Мы как растения... Этот курган найдет свое выражение в работе, которая названа «Курган. Шапка Мономаха», мы о ней попозже поговорим.

## Увлечение рисованием

**Н.Л.:** А расскажите, какие культурные события у вас происходили, как Вы в первый раз соприкоснулись с искусством?

**Н.Н.:** О, это замечательное, замечательное соприкосновение. Я рисовал, как все дети рисуют. Недавно рассматривал эти рисунки, все довольно бездарно, на мой нынешний взгляд, но какие-то есть натурные, где я был увлечен страстью рисования козы или какого-нибудь предмета. А так мы были очень политизированы, были воспитаны тем временем, в основном мои рисунки содержат бой красноармейцев с белогвардейцами.

**Н.Л.:** Батальные сцены.

**Н.Н.:** Все жили этим, все были воспитаны в ожидании войны, и мы были готовы. Патриотизм зашкаливал в хорошем смысле слова. Все было ясно: вот мы, а там враги. Это все было. Соприкосновение с прекрасным — это, конечно, книги. Это сильное впечатление, но оно было потом. Моя мама была в книжном магазине и купила мне книжку Анри Перрюшо «Жизнь Ван Гога».

**Н.Л.:** Это какой у вас возраст тогда был?

**Н.Н.:** Лет двенадцать-тринадцать. Какой судьбой ее туда забросило? И почему мама ее купила? Не знаю. На обложке репродукция с портрета Ван Гога с отрезанным ухом. В общем, это был какой-то знак. Я, естественно, в этом ничего не понимал, но и в школе, и дома, и друзьями это поощрялось: что-то рисуешь, делаешь. Но первое соприкосновение — с чего, собственно, все началось: мама узнала от соседей, что в соседнее село (которые называется Липяги) приехал художник. И говорит: «Давай собирайся, пошли к этому художнику, и ты ему всё покажешь». И мы пришли, довольно далеко было. Села находятся у нас на расстоянии десять—пятнадцать километров друг от друга. И что я вижу: старый дом, земляной пол, мама этого художника, труженица с разбитыми загорелыми руками. Ну и где сын?



Заходим: рубаха-парень, мужик без ноги, какой-то у него протез, пьяный совершенно. Он поглядел мои рисунки и сказал: «Этим не надо заниматься, настоящий художник рисует по клеточкам. Это, — говорит, — все так, ерунда».

Это был первый художник, которого я увидел. Мы, естественно, все выслушали. Я потом попробовал по клеточкам рисовать, но быстро понял, что это не тот путь. Но результат этой встречи был положительный. В итоге получилось, что он повлиял на всю мою дальнейшую судьбу. Благодаря ему я не получил профессионального образования. Это плюс для меня как для художника в понимании того, что я делаю. Это очень важно. Все мои попытки поступить в серьезные места кончились провалом. Единственное из этой встречи мы с мамой вынесли — мама спросила: «А где на это учатся, есть такие места?». И он говорит: «Я-то, из Ленинграда, какая-то школа там есть, где этих оболтусов учат». Ну, и как бы все, попрощались и ушли. Мама дала отцу отчет, отец говорит: «Ты хочешь учиться?» Я говорю: «Надо попробовать». Отец работал в крупокомбинате у нас на станции, а мама домохозяйка. Мы сделали запрос, нам ответили, что у нас есть художественное училище в Воронежской области. Мы туда написали. Оттуда пришел ответ: «Пожалуйста, приезжайте». Но мы параллельно написали еще в Ленинград в справочное бюро, и нам прислали адрес средней художественной школы при Академии художеств. У нас было две таких школы, самых крутых: это СХШ имени Сурикова и СХШ имени Репина. Ну, и все, ориентир был задан. Мы в Ленинград написали, оттуда тоже прислали: «Пожалуйста, приезжайте...». Стали меня готовить, заочно, был целый год подготовки. Это был уже восьмой класс общеобразовательный, и так как мы у этого художника были летом, у меня был целый год. Оттуда пошли инструкции, что надо рисовать натюрморты, объяснив, что это такое. Может быть, из-за них меня и допустили до экзаменов. Натюрморты были такие: стоит керосинка, на керосинке зеленый чайник, рядом с керосинкой буханка хлеба, в хлеб воткнут нож. На фоне загнетка (это часть печи). Вот такие натюрморты.

Н.Л.: Это инструкции к вам приходили такие?

Н.Н.: Нет, там было задано написать натюрморт, сделать копию с классического рисунка, нарисовать гипс, еще что-то.

Н.Л.: А откуда вы гипс брали?



Дед Егор, Николай с родными. 1956 г.

Н.Н.: Сейчас дойдем. Через знакомых мне достали пластическую анатомию. Я делал копии с Лосенко, Иванова... Мне, кстати, помогали, естественно, эти квадратики, клеточки. (*Смеется.*) В принципе, клеточки используются. Сейчас я вернусь к тому художнику. Это оказался, как вы поняли, «художник» — «кладбищенских дел мастер». Да, забыл рассказать: он виртуозно нарисовал Александра Сергеевича Пушкина... Был календарь в каждом доме в советское время, назывался «Численник», и в нем был заложен оторванный листок с изображением Александра Сергеевича. Он тут же в два счёта по клеточкам нарисовал Александра Сергеевича. Это было чудо — вылитый Пушкин. Конечно, в этой ситуации клеточки имели свое значение. И один портрет, портрет отца, в итоге трансформирован мной очень выразительно. Я недавно, когда разбирал рисунки того времени, его оставил, потому что он получился. И он еще своеобразно раскрашен, нарисован на обоях на обратной стороне.

Перейдем теперь к подготовке в СХШ. С натюрмортами разобрался, с копиями с рисунков мастеров тоже, но вот гипс, где достать гипс? Естественно, гипс был в каждой школе — это был Владимир Ильич. Мы были народ смелый, уличные



мальчишки. Поэтому я, недолго думая, расположился в коридоре и на коленке стал рисовать в альбоме Владимира Ильича. Гипсовый Владимир Ильич был к тому же повязан красным пионерским галстуком. Наша школа была двухэтажная, бюст стоял на втором этаже перед кабинетом директора. Вышел Павел Петрович, директор, очень хороший человек, покраснел, позеленел, схватил меня за шиворот в директорскую, запер. Позвонил на завод, вызвал отца и говорит: «Егорыч, эта сволочка хочет нас с тобой посадить. Он рисует Ленина!» Спрашивает: «Для чего?» Я ему объясняю. «И, — говорит, — это все поедет в Ленинград?» — «Ведь заказано: гипс, и он нашел гипс!». В общем, меня отчитали, гипса я был лишен.

Но я был человек упертый, и я сделал свою первую скульптуру. Ну, думаю, если этот вариант не прошел, значит, мне надо вылепить и рисовать с вылепленного...



Я набрал на реке глины, и что вы думаете, — слепил Ленина. Получилось похоже.

Мама многие мои проделки прощала и скрывала от отца. «Спрячь. Отец тебя убьет. Тебе ж запретили». Ленин сох, высыхал, трескался... Подсобное хозяйство в хрущёвские времена какое-то разрешалось, у нас были козы и овцы, чуть-чуть. На лето их собирали в небольшое стадо, и пастух дядя Ваня (калека, есть рисунок) угонял стадо на специально отведенные со скудной растительностью лощины и овраги, где они паслись и жили всё лето. Место в катухе, где они жили, освобождалось. Там я и спрятал за кормушками Владимира Ильича. Ленин высох. И я уже собирался его рисовать. Отец с работы приезжал на велосипеде домой обедать, когда работал в дневную смену. В тот день, приехав, он зашел перед обедом в этот катух по какому-то делу и увидел припрятанного Владимира Ильича... Я считаю, что мой отец — первый акционист. Он разбил ломом вдребезги мою первую скульптуру. Так что с «гипсом» у меня вышли проблемы.

Я что-то рисовал с натуры и посылал. Наверное, мы все-таки написали, что гипс у нас не найти, пособий нет и так далее. Короче, меня вызвали, я участвовал в экзаменах, ну и было понятно, что поступить туда невозможно: нас, абитуриентов, было человек тридцать... В СХШ был один учащийся в восьмом — это девятый общеобразовательный (у них свои классы), — у него была неудовлетворительная оценка по какому-то общеобразовательному предмету. Если он в первой четверти получит опять неуд, его из школы отчислят. И тогда на это место взяли бы одного из нашей группы. Из этих тридцати прошли конкурс я, из Воронежской области, и еще мальчик из Оренбургской области. Все остальные были ленинградцы из художественных кружков, кроме нас. Но мальчик явно из какого-то города, у него были уже профессиональные навыки, он был подготовлен. Я же совершенно нет. Это было приятно, что прошли двое иногородних из разных областей. Но никаких гарантий не было, что кого-то из нас вызовут.

Первым делом, когда нас поместили в общежитие в интернат на время экзаменов, я тут же сбежал в Эрмитаж. Ленинград играл и играет огромную роль в моей жизни. Я с этим городом не расстанусь. Поэтому попытка с образованием — это был первый экзамен — кончилась неудачей. И так как не хотелось уже возвращаться... Трудно передать то состояние и те ожидания, ту страсть... У нас был один знакомый отца, по работе, а его брат Марчуков Николай Георгиевич, художник, где-то жил под Москвой, в Федоскино, и преподавал в художественной школе. Перед выездом из Ленинграда отец позвонил своему знакомому, узнали адрес. Это тоже говорит о родителях. И говорит: «Ну что, поехали в Федоскино». И мы поехали. Явились незваными, без предупреждения, к этому человеку. Он был преподавателем в Федоскинской школе миниатюрной живописи. Посмотрев мои [рисунки], он говорит: «Все, ты уже поступил». Был конкурс, три человека на место. Я поступил без проблем. Рисунок, живопись, композиция — все было сдано. Таким образом, не Ленинград, а Федоскино...

Я был совершенно не подготовлен, и все, кто был на нашем курсе, тоже, за редким исключением. Нас начали учить. Миниатюра мне была совершенно не нужна. В школе было три отделения: федоскинская лаковая миниатюра, жостовский поднос и ростовская финифть. Москва и Московская область — режимные области, закрытые для проживания иногородних. Давалась временная прописка на год, затем продлевалась. Я мог поступить и учиться только на ростовском отделении, и в дальнейшем работать на ростовской фабрике финифти. Проучился четыре года... Нас было трое друзей: еще Витя Катяхов и Саша Жалнин. Живопись и рисунок преподавал замечательный преподаватель Борис Петрович Городилин, выходец из Суриковского института. Он поощрял наш энтузиазм — стать художниками. Помогал нам. Но в какой-то момент Городилин понял, что мы очень серьезно настроены, радикально, вплоть до выхода из школы, и приубавил пыл занятий с нами. Сам он прошел огни и воды: СХШ, педагогический, Суриковский и понимал, что это такое. А помочь нам ничем не мог. А мы уже двигались в этом направлении... и остановиться не могли. В наших рядах произошел раскол, я предлагал учиться до конца и уйти с диплома. Мы были не подготовлены для экзаменов в художественные училища, а тем более в институт. Но Саша с Витей решили не ждать и уйти после третьего курса. Они ушли и поступали в ленинградское Серовское училище, не поступили. Судьба такая: Саша стал инженером, очень способный, талантливый человек. Но самым талантливым был Витя. Его уже нет в живых, он кончил как алкоголик, умер. Они — мои земляки, тамбовские.

А я, в тот четвертый год обучения встретил первую супругу. Это особая история. Она тоже задала серьезный вектор. Благодаря этому у меня были бросания, метания по стране. Это была любовь, и всё очень серьезно. Но Москва — закрытый город. Жизнь у нас не складывалась, и не сложилась. В итоге, в момент выяснения отношений мне было брошено обвинение, что я «женюсь» на прописке... и всё кончилось мгновенно. Мы развелись. Я выписался. В паспортном столе сидел капитан (это 1974-й год) (В беседе оговорка — женитьба, поездка в Ленинград, работа там дворником и затем отъезд на Кавказ, это 1975 год. — Прим. Н.Н. Наседкина).



Он меня выслушал и говорит: «Иди и напейся, я тебя не выпишу. Ты что, идиот? Иди в ментовку, на стройку... ну ты что? Ты же весь, как на ладони, какая здесь авантюра?» В общем, выставил меня. Я ушел, напился и выписался на следующий день.

И тогда он с матюгами: «Ну и топай. Вот тебе, — штампик, ты теперь кто? Где прописка?» А через несколько лет мои

«бывшие» меня нашли, по всей стране искали. Была заявка в угрозыск, чтобы меня найти и вернуть. Нашли. Мы опять сделали попытку, но ничего не получилось. Встреча с Татьяной (фамилия очень хорошая — Деткина) задержала меня в школе, но диплома я писать не стал. Ушёл год спустя после ухода ребят.

Был еще важный момент: в то лето после третьего курса (до встречи с Татьяной) была заявка в нашу школу от реставрационного отдела ВНИИРа (нужны были рабочие руки для реставрационных работ), и я познакомился с замечательными людьми (темперный отдел): с Игорем Яковлевичем Соколовым и его супругой Евгенией Михайловной Кристи. Мы работали под их руководством на объекте, учились реставрации (нас было несколько человек, Федоскинцев), это была стажировка в Белозерске. И реставрационный отдел впоследствии дал мне рекомендацию для поступления на реставрационный факультет в Академию художеств в Ленинград. Реставрационный темперный отдел находился в Зачатьевской церкви. Недалеко от церкви есть скверик. И вот тогда, сидя в этом скверике, я принял решение — «ухожу из Федоскино».

## Попытки поступления. Работа дворником

**Н.Л.:** Это перед Сретенским монастырем скверик, да?

**Н.Н.:** Нет, не Сретенский, Зачатьевский. Там бензозолонка была. Сейчас все совершенно по-другому. О своем решении я сказал Игорю и Евгении Михайловне. Это решение было принято. Помогали мне всем, чем могли: жильё, работа, книги, музеи, знакомство с интересными людьми... Их доброта и внимание — незабываемы.

В Федоскино у нас был очень хороший преподаватель Татьяна Ивановна Малая, она вела спецкурс, финифть. Когда я уходил с диплома, она понимала ситуацию и старалась мне помочь. Директор наш, Михаил Александрович Боков, бывший комиссар, с войны без руки, партиец, говорил: «Я давно тебя понял, этот номер у тебя не пройдет. У нас тут разное бывало, но такого, чтобы с диплома уйти... Ты это запомнишь». И он мне выдал справку, что я ухожу по собственному желанию в связи с заболеванием глаз (болели глаза, когда писал миниатюру, в детстве я носил очки от напряжения). С этой справкой мне было не поступить... От школы осталась эта справка и школьное удостоверение, что я учащийся четвертого курса Федоскинской школы миниатюрной живописи, которое помогло, когда поступал в Академию. О своём решении этим летом поступать в Академию я написал в Мичуринск Вите Катяхову. Мы встретились в Москве и поехали в Ленинград. Жили у моей тётки. Справок и характеристик, где мы учились, у нас не было. Тётя Аня — учитель литературы и русского языка. Ее супруг, физик, говорит: «Это ерунда, печать мы сейчас сделаем. У тебя же осталось удостоверение?» «Аня! Давай, вари яйца вкрутую и пиши им справки и характеристики». Мы с Витей ждем. Олег Николаевич взял сваренное яйцо, очистил и прижал к печати в школьном удостоверении, затем быстро, пока оно горячее, оттиснул отпечатанную на яйце печать на справки и характеристики, которые нам написала Анна Ивановна. Подпись поставить — все-таки мы миниатюристы — была не проблема. Документы в Академию у нас были приняты. Мы прошли предварительный просмотр и были допущены до экзаменов в Академию. Сдавали. Но... не поступили. С Ленинградом было кончено. Я тогда уже понял, что мне не поступить, что это безнадежно...

**Н.Л.:** Одна попытка была в Академию?

**Н.Н.:** Получается, уже две, если с СХШ.

**Н.Л.:** Ну да.



Николай-подросток. 1966 г.

**Н.Н.:** В принципе, я дошел, как Венечка Ерофеев, все-таки дошел до Кремля. Но на территорию не вступил.

Потом я делал попытки поступить в педагогический здесь, в Москве. Первым экзаменом было черчение. Аксонометрия у меня в итоге на лист не поместилась. Это был, по нынешним временам, концептуальный чертеж. То есть он начался, но листа не хватило.

Потом я сделал попытку поступить в Училище 1905-го года, прошел специальные предметы, но на литературе нас, лишних, отсеяли. Игорь Соколов поговорил с директором ВНИИРа И.Гориним. И мы с ним приехали, как сейчас говорят, «на разборку» в училище. Завуч говорит: «Ты же Ваня знаешь, уже все набрано на два года вперед...». И я понял, что надо ставить точку в этом деле и больше не пытаться куда-либо поступать.

В Федоскино педагогам я задавал вопросы: в чем суть художника? Тогда же был соцреализм. Ответов не было. Круг замкнулся. Я был выписан отовсюду и нигде не прописан. Я выписался из Москвы и никуда не поступил... Куда дальше? И я уехал в Ленинград, поближе к Академии, устроился дворником. Дворники были всегда нужны. Место я выбирал сам, это тоже было романтическое, утопическое представление, что вот будет комната, и я начну заниматься, что-то делать, рисовать... Но действительность была сурова и беспощадна.

Мой участок — это угловой современный дом за Казанским собором, который одной стороной выходит на площадь, а другой на улицу Плеханова (сейчас Казанская). Я должен был утром (с пяти часов) и вечером до захода солнца подметать территорию вокруг дома, поливать асфальт на улице и во дворе, выносить мусорные и пищевые отходы с лестничных площадок, мыть их, вывешивать флаги к праздникам, работать на жэковских субботниках... Жилье мне было выделено на улице Плеханова, дом 17. Это был полуподвал. В два окна. Сырой. Кран с холодной водой. Допотопный туалет. Классическое место для сторожа и дворника. Там я жил с лета по осень 1975 года. Но меня обманули, не дали временную прописку. Я был на «крючке», как сейчас говорят. Начальник ЖЭКа — симпатичная женщина, интеллигентная. В милиции знали, что я не прописан. Работать не мешали. Начальница говорила: «Мы дадим, дадим тебе прописку, но позже... не сейчас».

У меня уже были друзья в Ленинграде: Гнездилов Андрей Владимирович, его мама Нина Конрадовна Слободинская, Миша Степанов, Наташа Сидорова, Наташа Зорина... И кто-то из знакомых Гнездилова мне сказал: «Сходи к адвокату, узнай свое положение...». И я пошел в общественную адвокатскую контору, рассказал свою историю, за это надо было рубль заплатить. Адвокат говорит: «Никакого рубля, ничего не нужно, у тебя ситуация сложная. Тебе надо отсюда уезжать. Если тебя остановят на улице милиция и спросит паспорт, год тебе обеспечен как туеядцу. То, что ты работаешь, никого не касается. Поэтому надо уезжать». Это тоже лейтмотив: надо уезжать. Потом он повторится.

Я уехал на Кавказ, были романтические представления: теософы, Блаватская, антропософы... Для меня началось самообразование. Оно было уже в Москве, начало было положено Соколовым и Евгенией Михайловной, и другими обстоятельствами. А в Ленинграде это было продолжено у Нины Конрадовны и Андрея Владимировича — это был своеобразный центр, Ковенский переулочек. Андрей Владимирович сейчас болен, но он жив, слава Богу, дай Бог ему здоровья. Нины Конрадовны давно уже нет. Вот ее фотография.



Н.Л.: Это ваша фотография, вы фотографировали?

Н.Н.: Нет, не я. Но у меня есть ее портрет. Это потом, это следующая история. Я пришел к Нине Конрадовне и рассказал ей о своём положении. У меня был первый мой паспорт. В Федоскино нас прописывали каждый год, продлевали нашу прописку в области, и потом мои выезды-выезды в Воронежскую область, в Москву, из Москвы... У меня уже в нём не было места для печатей... Но тут как-то надо вклинить: мое освобождение от армии.

Н.Л.: А это было вот до отъезда на Кавказ?..

Н.Н.: Да, я уже получил свою статью 8Б, но, может быть, сделаем сейчас возврат, тоже важный момент.

Н.Л.: Хорошо.

## Аллергия. Освобождение от армии

Н.Н.: У нас такая беседа, не подготовленная, поэтому что-то надо восполнить. В данном случае — мое освобождение от армии. Я ничего против армии не имел, у меня не было никаких комплексов по этому поводу, в деревне это честь и почет — там побывать. Но я с детства не мог есть рыбу. У меня аллергия на рыбу, отек Квинке: распухают слезники и переносица, реакция молниеносная. А когда я учился в Федоскино, отец мне посоветовал: ты, пока под Москвой, найди место, узнай, что это такое. Я занялся этим, получил направление из районной больницы в областную, на проспекте Мира в Москве, на приём к аллергологу. Аллерголог — это была редкая специальность в 1972-м или 1973 году. На медицинском осмотре я съел рыбу (кусочек селедki) и тут же распух. Был консилиум. Помочь невозможно. Нечем. Врач-аллерголог говорит: «Твой случай серьёзен. Аллергия — еще не изучена, она развивается. У тебя опасная форма, непонятно, во что она выльется. Но реакция очень сильная, а у тебя армия впереди, чем вас там кормить будут... Тебя не освободят, нет такой статьи, и еще — аллергия в твоём случае может развиваться непредсказуемо и представлять опасность для жизни...». Выписала мне справку и поставила диагноз: пищевая аллергия, отёк Квинке.

Мы были приписаны к Мытищинскому военкомату, и, когда я проходил комиссию, я показал справку от аллерголога, и тогда, по просьбе врачей из комиссии, съел рыбу — все повторилось... Члены комиссии не знали, что делать, но когда услышали, что я ушел из школы, они обрадовались, говорят: «Ты уже не наш, не мы будем решать этот вопрос. Поезжай к себе в воронежскую и там разбирайся с этим делом». Я приехал. Терновский военкомат. Комиссия. И опять: «Мы понимаем — дело дрянь, но нет такой статьи...». Наверное, поведение у меня было неадекватное: я был возбуждён, активен... и присутствующий психиатр говорит: «Да, у тебя целый набор симптомов, чтобы тебя отправить на обследование: бросил школу накануне получения диплома, поступал — не поступил...». Пишет направление, запечатывает в конверт. «Вот адрес, поезжай».

Приезжаю в Борисоглебск. Районный дурдом. Пролежал несколько дней. Это было первое попадание в сумасшедший дом, впечатление — сильнейшее. Были опросы, тесты, анализы... Потом мне выдали запечатанный пакет, и я с ним явился в военкомат. На следующий день меня вызвали: «... Ты освобожден от армии. Статья 8б, годен к нестроевой службе в военное время». Я хочу эту линию закончить: конечно, эта статья меня освобождала и давала плюсы, но в то же время психологически очень мешала мне по жизни. И я пытался ее снять, эту статью.

Это уже был 1979-й или 1980 год.



В Москве, на очередной перекомиссии, я говорю: «Я вылечился, все нормально, впишите мне аллергию, а 8б уберите». В итоге меня отправили в Ганнушкина, где я пролежал две недели.

Хочу сказать, что я за это время поработал санитаром в сумасшедшем доме в Ленинграде и многое чего повидал, но тот ужас, который я пережил в палате, находясь среди больных, оставил во мне тяжелое впечатление. И когда, после обследования, врачи из Ганнушкина, входившие в комиссию, подтвердили мою статью 8б и не сняли её, мне сказали: «Ну что ты хочешь? Ты не можешь служить в армии и выехать за границу. Но если кого-то убьешь, несешь ответственность. Можешь водить машину, но в армию нельзя и за границу». Цикл с армией завершен. Потом я расспрашивал своего тестя, отца моей последней супруги, Алёны. Работать, писать я смог только с ней. Ее отец военный. Я Виктора Ивановича спрашиваю... «Ну да, — говорит, — вы неблагонадежные товарищи... (в политическом смысле), неадекватные, что-то может выйти из-под контроля...».

## Поездка на Кавказ

Ехать на Кавказ — было коллегиальное решение: Нина Конрадовна, Андрей Владимирович и я решили, что лучшего места не найти. Написаны были рекомендательные письма... Сначала я приехал на черноморское побережье недалеко от Гудауты, забыл посёлок... [Лазаревское].

Н.Л.: Ну ничего, всплывет.

Н.Н.: Там жила двоюродная сестра Нины Конрадовны. Я приехал, это был январь или декабрь. Не помню уже подробностей. Прожил какое-то время в этом месте и понял, что это не то... Там жили верующие, знакомые Нины Конрадовны. Я привез им какие-то от неё книги. Мы общались...

Следующий адрес был — Теберда. У меня было два письма. Одно к Никите Дмитриевичу Жуковскому и Вере Александровне

Успенской. Местные интеллигенты, врачи. Второе — к Николаю Васильевичу Боку, он жив сейчас. Бок — настоящий «фон». Его предки приехали из Германии при Александре I. Первый предок был посажен в Шлиссельбургскую крепость за то, что написал радикальную записку в духе Сперанского об изменении строя в России и подал её императору... В Николае Васильевиче эта линия честности и порядочности выдержана и по сей день. Я приехал. Дорога в Теберду через Минеральные Воды. Автобусом в горы, после Теберды — Домбай, известные в советское время места, и сейчас тоже. Когда я высадился на остановке, местные ребята подошли ко мне и спросили: «К кому?» Я назвал, говорят: «Ну, это наши кунаки»...



**Кто нес зонтик, кто этюдник, а кто-то мой рюкзак... Это был почетный конвой.**

Привели меня к Никите Дмитриевичу. Жуковские принимали всех. Это был пересылочный пункт, кто там только не перебивал! И они меня прописали. Я был прописан у них на Карачаевской улице (номер дома забыл) и одним из первых получил новый чистый паспорт. В 1975 году начался обмен паспортов. И очень жалею, что тот, старый, не сохранился. Ксерокс тогда не было. В первый вечер, когда я познакомился с Никитой Дмитриевичем и Верой Александровной, мне был задан тест: как я отношусь к Рериху? Я говорю: «Я не поклонник». — «А!» — говорят, — «Вы тогда станете друзьями с Николаем Васильевичем!» (*Смеется.*)

И в самом деле, Николай Васильевич был проще и его интерес к жизни заражал. Он познакомил меня с беседами Джидо Кришнамурти (в переводе и самиздате Н.В. Бок). Кришнамурти был мессия своего времени. Для него было главным непосредственное восприятие мира, действительности. Николай Васильевич занимался дза-дзэн, переводил. Работал рентгенологом в Тебердинском санатории.

А Никита Дмитриевич, редчайшего сердца человек, был менее радикален в своих взглядах и практиках. Он был глазной врач. Его мама, известная писатель, теософ Аделаида Герцык, с которой дружили М.Волошин, Н. Бердяев... Никиту Дмитриевича все любили и уважали. Для него учение Рериха и Агни-йоги были более близки, они формировали самосознание, расширяли его — это очень его интересовало. Он этим жил. А практикой применения своих знаний была работа, друзья (многочисленные), родственники, соседи, пациенты... Николай Васильевич — дворянского происхождения, и его родители были репрессированы (мама), а отец пропал без вести. Он воспитывался в детском доме. Ему было запрещено высшее образование. А он удивительных способностей человек и, поскольку по крови немец, хотел быть военным. Но у него это не получилось. Таких, как он, не брали в военные училища. И тогда он заочно закончил какой-то университет. Он в совершенстве знает английский и переводит книги по дзэн-буддизму с английского на русский, и сам же их печатает на печатной машинке до сегодняшнего дня. Я помогал ему перепечатывать его перевод (на машинке) о дзэн-буддизме, который мы с Никитой Дмитриевичем потом переплели. Я быстро усваивал всё прочитанное и понимал, что это не моё, не для меня... Был момент страсти и увлечения чтением, расспросами, потом всё кончалось. Но это не расстраивало ни Николая Васильевича, ни Никиту Дмитриевича.



**Там я стал вегетарианцем, хотя вегетарианцем (в зачаточном виде) я уезжал уже из Ленинграда. Вегетарианцем, но с отклонением: курил, выпивал, — в общем, жил свободно, но не ел мяса.**

Мы с Никитой Дмитриевичем за ту зиму дошли до предела, мяса мы не ели. У меня энергии хватало, но Никита Дмитриевич сильно сдавал. Был вял, бледен... Потом выяснилось, что Вера Александровна нас подкармливала мясным бульоном, потому что как врач (она хирург, с Никитой Дмитриевичем познакомилась на фронте, работали вместе в госпиталях) понимала, что какой-то баланс надо поддерживать. Тихо так улыбалась, когда нас кормила «овощным бульоном».

Жил я у них [в маленьком домике в саду] не типичном, надо сказать, для Кавказа. Это был более крымский домик. И я в этом домике жил, топил печку. Когда нас заваливало снегом, мы с Никитой Дмитриевичем рыли тоннель навстречу друг другу. Снегу выпадало до двух метров и выше, а потом могло быстро всё растаять. Это был незабываемый Кавказ. У меня было несколько походов в горы. В Теберде жил — светлая ему память! — альпинист Юра Губанов, родом с Урала. Не мог жить без гор, был инструктором на даче КГБ, к которому не имел никакого отношения... где он мог найти работу? Были еще ребята из Москвы, работали егерями в Тебердинском заповеднике. Теберда — экстремальное место, где каждый, кто этого хотел, мог найти то, что ему хотелось: ходить в горы, охотиться, читать литературу, которая была запрещена... общаться... А у Юры большая семья, всех нужно кормить. Человек пять у него было детей, два или три сына, они тоже все стали альпинистами. Николай Васильевич недавно сообщил, что Юра разбился при восхождении. Он без них жить не мог, без этих гор.

Я его просил взять меня с собой в горы. В Теберде жил еще один заезжий «свободный» художник Коля Селезнев с семьей. И вот однажды Юра приехал на УАЗике за мной и за Селезнёвым, погрузил нас и говорит: «Все, поехали». Взяли самое необходимое. Ботинки Юра мне выдал казенные, с дачи. И поехали в сторону Клухорского перевала. Сезон еще был не открыт, кордоны закрыты, но Юра на это и рассчитывал, потому что потом перевал будет забит туристами. Еще не сошли лавины. Мы приехали на северный приют к вечеру. Его, естественно, там все знали, свой человек, тем более в таком месте работает. Мы пришли на базу (перед подъемом), и сторож, армянин одноглазый, пират с виду, говорит: «Юр, ты с ума сошел? Там гроза, дождь собирается, куда вы? И эти „зайцы“, — говорит, — сейчас к вам пристанут». На базу каким-то образом прошла романтическая молодая пара, девушка с юношей с огромными рюкзаками. Они, естественно, пристроились к нам. Мы поужинали и сразу на нары спать. А у них такие рюкзаки... наши рюкзаки полупустые: альпинистский канат, свитер, нож, алюминиевые кружки, шоколад, спички, спиртовка. Юра поднимает нас в три часа ночи. Дождь, гром... полный конец! «Одевайтесь». Парочка тоже проснулась. Понятно, что они в такую погоду не пойдут.



**А мы пошли. И все нормально. Молния не убила, поднялись под проливным дождём на перевал, не сорвались...**

Конечно, в такую ночь Клухорский перевал, я думаю, не все видели. Луна и блестящие отраженным лунным светом озёра... Эти вот озера на перевале — не земной пейзаж... Северный Кавказ — суровый край. Исполинские хребты. Ослепительный снег. Лавины. У подножья кедровые, сосновые прямостоящие леса. — Юг — мягкие очертания гор, теплый воздух, обилие водопадов, рек, пышная растительность... Мы спустились с перевала и пришли к вечеру на южный приют. Нас очень хорошо приняли, мы переночевали (это Абхазия). Юра — свой человек. Решили ехать на автобусе: «...Если пойдём пешком, мы и через месяц не дойдём до Сухуми. Отсюда нам не выйти, у меня здесь сплошь друзья...». Незабываемый спуск на местном автобусе по ущелью к морю, в Сухуми. А потом проезд по побережью.

Меня поразило, как в этом ущелье, по которому мы ехали, съезжался народ: кто-то умер. Родовые связи. Все в черном. Благородные. Женщины невероятной стройности и красоты, и уважительное отношение к ним мужчин. И их было очень много. Этими отношениями родства и многочисленностью я был потрясён. Нам надо было заехать на побережье, переночевать на турбазе и вернуться на поезде в Минводы, а затем на автобусе к себе в горы, в Теберду.

Был еще мой выход в горы, где я самостоятельно прошёл маршрут, который дал мне Юра. И я прошел, все ничего, но встретился — слава Богу, не нос в нос — с медведицей и с медвежонком. Чуть-чуть не дошли до встречи... Шли по ущелью к одной точке с разных сторон, и мы бы там встретились... оставалось метров 30, но я услышал, как в полной тишине падают камни. Всмотрелся в противоположную сторону ущелья (она была в тени, был уже вечер) и увидел медведицу с медвежонком, который ронял камни, они меня и спасли. До медведицы с медвежонком я встретился с небольшим стадом горных козлов, тоже всё обошлось. Я к ним шаг, и они мне навстречу делают шаг... Перебегающая долину, а вернее летящая по воздуху, как птица, горная лань... С десятиэтажный дом отвалившаяся с Домбай-Ульгена и падающая в пропасть лавина... Это был поход, важный для меня. Я потом волновался уже за сына, когда они проходили какой-то сегмент по Эльбрусу. Про меня никто не знал, где я ходил. Но когда Егор ушел со своей московской группой в эту экспедицию и от него ничего не было слышно (мобильных еще не было), и было объявлено, что там, на Эльбрусе, пропала польская экспедиция...

**Н.Л.:** Егор — это сын?

**Н.Н.:** Да. Все-таки какое терпение надо было иметь моим родителям... Они ведь не знали, где я и что я, знали только, что живу я там. А как, куда я уходил, им было неизвестно.

## Творческие моменты

**Н.Л.:** Я хотела спросить: вы творили там? У вас какие-то работы есть?

**Н.Н.:** «Творили»... Я стараюсь уходить от таких слов.

**Н.Л.:** Хорошо. Творческие моменты.

**Н.Н.:** Да, были — бездарные, натуралистические. Но был один момент, где выход был. В принципе, эти выходы были во все времена, спонтанные и неуправляемые. Были сигналы, но я их не понимал, где страсть захватывала меня. Это было и в Ленинграде — в период, когда работал дворником. В свободное от работы время я делал какие-то этюды, рисовал. Был один рисунок... Болел сын, он был еще маленький, и я эту работу отдал в художественный салон, и ее продали... Это был миниатюрный реализм на большом листе ватмана. Образ открытого окна, наполненного светом — получился. В Ковенском переулке есть современный дом (в нём квартира Нины Конрадовны и Андрея Владимировича), где на верхних этажах — мастерские, ниже под ними квартиры для художников. На крыше башня, в которую можно было попасть, поднявшись по ступенькам из мастерской Нины Конрадовны. Там было свалено: скульптура, битая посуда, подвешены к балке колокола и колокольчики разных размеров, рыцарские шлемы, шпаги, похоронный фонарь с катафалка прошлого века, книги, обувь, рамы, зеркала, этюды... а паутина всё переплетала и опутывала. И этот хаос я скрупулёзно изобразил.



**Окно было границей между хаосом здесь и пейзажем там, за окном, который тоже до мельчайших деталей был срисован с природы в плоть до идущей кошки по карнизу дома, напротив. Ни фотографии, ни набросков — ничего не осталось.**

Работу купили сразу. Когда учился в Федоскино, тоже были касания. Это было самое счастливое лето. После второго курса, на каникулах, я писал у себя в воронежской, разъезжая на велосипеде по окрестным деревням и сёлам портреты: стариков, старух, сверстников, соседей, родных... И что-то получилось: «Отец Фёдор» — поп из Алешковской церкви, «Дядя Вася», «Бабушка Оня», «Дед Данила», «Старик Никита», «Люба»... Касания были. Портреты на картонках были написаны масляной краской с одним желанием — передать мою любовь и уважение к этим людям, схватить черты характера, в которых отражена их прожитая жизнь... Моя неграмотность мне помогала — рука была свободная, и я писал, не думая о технике и прочей ерунде... В Федоскино втроём мы жили в большом деревенском доме. В общаге не понравилось. Остался рисунок углем: сидит старушка, наша хозяйка, одна в темноте что-то шепчет, над ней лампадка еле светит. Одиночество. Перед смертью...

В Теберде написано много работ. Не было холста, красок. Ездил в Пятигорск, в Минводы, покупал простыни, натягивал их на подрамник, грунтовал...



Это была целая экспедиция: спуститься вниз, в Лермонтовские места, потом подняться к себе в Теберду.

Из Теберды вывезена пачка работ, я их все раздарил. У меня предрасположенность к черному цвету. Себя я считаю колористом. Мне небезынтересен колорит. Колорит у меня строится на черных, красных, желтых, синих сочетаниях. Черный — ведущий цвет.

Н.Л.: А чем это обусловлено, вы можете сказать?

Н.Н.: Для себя у меня несколько ответов: «возвышенное» — это чернозем. А простой, я думаю — и они оба имеют значение — это мое незнание. Не получив профессиональных навыков, строю вещь и не могу справиться с какими-то узлами. Поэтому ухажу в условную черную плоскость, и эта условность абстрагирует действительность, дает мне выстроить то состояние, которое я хочу выразить, и это мне помогает в работе, будь то пейзаж, портрет, картина... Николай Иванович Андронов считал, что я строитель, это мне передавал Михаил Всеволодович Иванов. Для меня важно выстроить пространство. Где черный вибрирующий фон всё объединяет.



Отец Николай Егорович и мать Таисия Дмитриевна Наседкины. 1967 г.

Есть еще объяснение: «чёрный» — абстрактная единица моего незнания. Мы видим мир, но это не говорит о том, что мы его понимаем. Или мы его понимаем в меру своих особенностей. Это экран, который нас закрывает от бездны, которая не имеет ни начала, ни конца. И от которой никуда не спрячешься. Черный цвет для меня не несет негативного значения. Он для меня метафизичен, религиозен...

В Федоскино была проблема... Ростовская финифть — прозрачная, виртуозная техника. Я максималист, считаю дело, которое начал, довести до конца. У меня были хорошие оценки, даже отличные, я бы, наверное, получил отличный диплом. Но это был бы мой минус с художественной точки зрения. Акварельность, прозрачность давалась мне тяжело. Если что и получалось, то это было сухо, вымученно и достигалось усидчивостью и стараниями. Для меня была мука писать прозрачные акварели. И когда Горюхин это видел, он говорил: «Да бери ты свою черную (мне он разрешал писать масляными красками) и пиши, как хочешь!» И я писал самовары [которые стояли на белом фоне, белый фон я превращал в чёрный], и писал их, как они стояли в моем детстве на группке. Группка есть у печи, и там ставили всегда самовары. У нас был один самовар, а в постановке в Федоскино было два самовара: один жаркий, огненный, золотой, солнечный. Другой серебряный — лунный. Перед печкой было окошко, которое я тоже написал. Борис Петрович говорит: «Зажги в окошке луну». Это была связь с огнём... потом придёт понимание. Как у Ван Гога, вот репродукция: видите, в ночном небе светила, а здесь кафе, люди, фонари.... Вслепую, неосознанно, но попал! Вот земля — и вот эта бездна. Касание было.

А в Теберде, помню, я писал перед выездом, и это был пейзаж. Пейзаж старых гор. Жалко, нет фотографий, ничего... Это было не принято тогда. И тех набросков, к сожалению, я не делал, молниеносных, которые сейчас делаю... Я писал горы, пришел Николай Васильевич, увидел, говорит: «Николай Николаевич, если вам не сложно... — тем более работа сырая, забрать нельзя, — подарите мне. Это такая память!» Время усиливает свет этих людей. Они по своему назначению и были теми

учителями, которых я искал. Конечно, я был, как они считали, посвященным. Был смешной случай, когда я выезжал за красками в Минводы, и Никита Дмитриевич попросил меня передать что-то своей знакомой «теософке», она жила в пригороде. Я пришел по адресу. Увидев меня, она сказала, что я «посвященный».... Почитайте Андрея Белого... Я чувствовал, понимал, что эти «посвящения» — «всё не то, ребята...», как поёт Высоцкий.

Мне было важно реализовываться, когда я что-то делал. Сделать работу до конца и при этом, не откладывая её на «потом». Я не прятался, а шел на контакт с действительностью и старался решать возникающие вопросы. Книги-беседы Кришнамурти, а также в переводах Николая Васильевича книги по дзен-буддизму, сам Николай Васильевич с его практикой дза-дзэн и Никита Дмитриевич с занятиями йогой — всё было рядом, но я этим не занимался, книги читал. Но практикой для меня было: чистить снег, писать горы, готовиться к отъезду... Никита Дмитриевич, Вера Александровна и Николай Васильевич — это доброта и порядочность. Не зря их любили и уважали в Теберде и за её пределами. Николай Васильевич пятнадцать последних лет жил в Обнинске у сына, но прошлым летом решил вернуться в Теберду и там умереть. Его приняли. Сердечность остается валютой. — Вернемся к этюду. Николай Васильевич забрал пейзаж. Он висел у них в квартире.

Был случай, когда они уехали из Теберды, в Обнинск, в тяжелые времена. В квартиру пришли нехорошие люди. Поворочили какие-то вещи, но пейзаж не тронули, это священо: нарисована их гора. Сейчас пейзаж висит у меня, Николай Васильевич его вернул. Мне казалось тогда, что я свободно писал, что нарушил все традиции, а там, оказалось, всего лишь робкие мазки, которые я себе позволил. Все-таки в прошлом я миниатюрист. Учащимся Федоскинской школы ездил в Третьяковку копировать этюды Сурикова: «Боярыню» и «Казнь» (моя инициатива). Поэтому это был поступок — выйти за пределы. Первые сигналы.

## Возвращение в Ленинград. Работа в психбольнице

После Теберды я поехал в Ленинград целенаправленно, пробовать еще раз поступить в Академию. Я возвращался в родной город: я там все-таки жил. Андрей Владимирович Гнездилов принял в моём устройстве большое участие. Он психиатр-онколог. Лечил, а, по сути, провожал в последний путь людей со смертельными онкологическими заболеваниями, обречёнными на смерть, облегчая их страдания. Я сейчас еду в Петербург, ему позвоню. Если у него будет время и желание, я его нарисую, мы встретимся.

Надо было устроиться по лимиту и получить прописку. Гнездилов кого-то лечил из семьи профессора Академии художеств Мильникова, обещал поговорить с ним о том, чтобы мне разрешили заниматься на подготовительных курсах. Говорит: «Будешь ходить заниматься, все честно. Работать устроишься в ПНИ № 1». Это психоневрологический интернат закрытого типа. Мы вчера встречались на выставке, где выставлен как раз объект «Чемодан бывшего санитара сумасшедшего дома». Там книга-воспоминание, я вчера о ней рассказывал. Вот эта история... Мы немножко путано говорим.

**Н.Л.:** Да нет, вполне стройно.

**Н.Н.:** Моё участие в выставке этим объектом (я вам говорил) концептуально и логически имеет своё завершение. Выставка поедет в Петербург. Галерея участвует в параллельной программе «Манифесты». Темой является Петербург, Петроград, Ленинград, Петербург. «Чемодан» — возвращается...

**Н.Л.:** К истокам.

**Н.Н.:** К истокам, да. Туда, где он родился, и где, в общем-то, я родился. В этот город я стремился и с ним по жизни у меня всё связано. Меня недавно познакомили с Андреем Редькиным, режиссёром-документалистом из Петербурга. Выражено желание начать снимать фильм обо мне — через этот «Чемодан». Если начнётся работа, то тема раскроется глубже и перейдет в новый вид искусства. Этот объект, который выставлен сейчас — это виде оарт.

**Н.Л.:** Расскажите о вашей работе и о том, как родилась эта выставка. Про чемодан.

**Н.Н.:** То есть сам чемодан?

**Н.Л.:** Не сам чемодан, а как вы работали в этом доме. Вы подошли сейчас как раз к этому моменту.

**Н.Н.:** Я просто говорю, что сейчас у нас с вами кривая, на которую мы с вами вышли. Но я хочу по другой кривой вернуться к тому, как это все...

**Н.Л.:** Хорошо.

**Н.Н.:** Это та нить, по которой мы сейчас идем, которая меня привела, так сказать, в это заведение.

**Н.Л.:** Заведение?

**Н.Н.:** Психоневрологический интернат. Андрей Владимирович туда позвонил, у него там были знакомые, договорился о встрече. Нас приняли, ситуация понятна. Будущий студент, надо помочь, лучшие рекомендации, свой человек, пожил в горах, вернулся.

**Н.Л.:** Пора поработать.

**Н.Н.:** Работа тяжелая. Но для подготовки к экзаменам лучше не придумать. Сутки дежурю, трое свободен. Этого времени было бы достаточно для занятий и подготовки, чтобы ходить на курсы в Академию художеств и заниматься профессиональной подготовкой к экзаменам.

**Н.Л.:** А какой это год?

**Н.Н.:** 1976 год, лето. Оформляю документы, встаю на временный воинский учет. По заявлению от ПНИ меня временно прописывают по лимиту. Быстро получаю комнату в коммунальной квартире на Суворовском проспекте. Мы с сыном



несколько лет назад нашли двор и дом, где я жил. Девять метров у меня было. Да, еще, конечно, Федор Михайлович во всей моей жизни присутствует, со всеми моими заездами в Ленинград-Петербург. — Я иду по какими-то делам. Просторный двор психоневрологического интерната, документы оформлены. Ко мне навстречу идёт человек, производящий впечатление... Внешне он был очень похож на Олега [Ефремова] (*В видео оговорка — «Табакова»*. — Прим. ред.): Олег [Ефремов] в роли врача сумасшедшего дома. И он говорит: «Ты что, новенький?» Я говорю: «Да» — «А можно документы?» — «А, — говорит, — ты, значит, еще учился на художника в Федоскинской школе. И ты в это отделение, в легкое отделение, к престарелым больным? Тебе не стыдно? А кто тебя рекомендовал? А, Гнездилов, Андрюша, конечно! Нет, я повторяю: тебе что, не стыдно?» Я говорю: «Ну, а как же я же буду готовиться к экзаменам, для этого нужно свободное время, да и решение уже принято. А вы кто?» — я его спрашиваю довольно нахально.

” «Ха! Я, — говорит, — кто? Я главврач, и я, — говорит, — забираю тебя к себе». Я говорю: «А куда?» — «Ну, ты в легкое был направлен, а попадешь в самое тяжелое, в буйное отделение. Я там заведующий отделением».

Эта вот параллель, она у меня везде идет, амбивалентные варианты. Ну что ж, начальник, но какая-то симпатия к нему была мгновенная — из-за вот этой открытости, контактности, откровенности и без всякого панибратства. Он говорит: «У меня композитор и математик есть, они уже поступили. И ты поступишь, чего там, молодой, сил хватит, пять часов смена, два выходных». И забрал меня в свое отделение. Так началась моя работа. И там я работал.

Н.Л.: А это рисунки?

Н.Н.: Да, это наброски из того дома, решил сразу их вам показать, сейчас уберу. Сама форма беседы...раньше существовал литературный жанр: люди писали, придумывали; сейчас вот застольный разговор, а рассказать какую-то историю всегда сложно, тем более перед двумя видеокамерами...

Н.Л.: Это устная история.

Н.Н.: Устная история, но она история во всех отношениях: несет информацию и отчет о человеке, и о среде, и о жизни. Это маленький фрагмент нашей жизни.

Н.Л.: И мы остановились на том, как вы встретили главврача.



Портрет отца. Рисунок. 1969 г.

Н.Н.: Это я все-все-все помню. Когда мы встретились с этим главврачом, и его решение взять меня к себе — всё радикально поменяло, и я приступил к работе в восьмом отделении. В самом деле, отделение буйное, тяжелое отделение. Я не помню, сколько их там было, отделений, но восьмерка была тяжелая. Моя работа заключалась в том, что я должен присутствовать, находиться постоянно с больными, помогать врачам, медсёстрам, которые наблюдали и лечили больных, обслуживать больных. Санитар должен быть среди больных, он их сопровождает в туалет, кормит... Какие-то конфликты — он должен



их решать. В общем, это непосредственный помощник сестер и врачей, которые там работают. Этого здания уже нет, мои питерские друзья сказали, что «заведение» расселили по другим местам. Поеду, посмотрю, видимо, это место освобождено под какое-то коммерческое строительство.

**Н.Л.:** А где оно находилось?

**Н.Н.:** Это была богадельня, построенная при Александре III, то есть в конце XIX века непосредственно рядом со Смольным [собором]. Если стоять лицом к [собору], это с левой стороны. Там проезд, территория, отходящая к Неве, и там была богадельня, построенная для дворянского сословия, это псевдоклассицизм, но хороший, поздний... В общем, эклектика. Здание, конечно, перестраивалось. Там, где я работал, был сводчатый длинный коридор. Пол в коридоре был выложен черно-белыми квадратными плитами. С левой стороны коридора были большие арочные окна, а с правой — огромные палаты. Восьмое отделение занимало весь третий этаж (здание трёхэтажное). Больных было много, и на всех — три палаты. К этим палатам нужно прибавить столовую, тоже большое помещение, потом ординаторская, процедурная, душевая и туалет. В самом конце коридора была палата, она была изолирована, отгорожена фанерной стеной, в стене была дверь с маленьким закрывающимся оконцем. Сама палата была без окон. Эта палата была для идиотов, сумасшедших с травмированным движением и разными судорогами, перекрученными телами, справляющих нужду, где придётся, и так далее...

Главврач — забыл, как его зовут, но фамилия его Соловьев. Еще был, тоже очень хороший, симпатизировавший мне врач, отчество у него было Миронович. Остальных не очень помню. Моя работа была очень тяжелой.

**” Техника безопасности, которую я прошел, заключалась в том, что ты должен беречь тыл, что здесь убивают, и если нападение, то оно происходит сзади. Бывает по-разному, но чаще так.**

И что главный символ санитары — как меня инструктировал старый санитар (несмотря на возраст, крепкий человек, он уходил на пенсию): «Кнут и пряник. Ты должен наказать больного и похвалить, потому что без этого здесь невозможно». Это истина сумасшедшего дома.

Процент сумасшедших постоянен в мире, и, как любые болезни, они чем-то вызваны. Я туда попал не как исследователь, попал случайно, но, естественно, со временем эти выводы и размышления привели меня к работам, связанным с этим местом. Мои выводы основаны на реальных наблюдениях, и они таковы: мы ничего не знаем и не узнаем, а можем только строить предположения... Что такое сумасшествие? Сумасшествие, как любая болезнь и как любая жизнь, имеет свое начало и конец. Юродивые, сумасшедшие, бомжи, нищие... постоянно нас, «здоровых», окружают, сопровождают... они нам как бы напоминают нашу обратную, закрытую сторону, которую мы не знаем и знать не хотим... Боимся. Много вопросов.

Но это уже потом, а в тот момент надо было работать и остаться в живых. Может быть, прокомментирую какими-то рассказами, они и трагические, и комические. В то же время они передают напряжение, в котором пришлось работать. Наброски я делал спонтанно, они были вызваны одним желанием: зафиксировать движение, характер, выражение больного. Конечно, я думал, что буду готовиться, рисовать, и что мне повезло, натура здесь редкая. Но в то же время я понимал, что не смогу сделать полноценные портреты, потому что эти люди не позируют, нет статичного поведения, а есть, наоборот, буйное поведение. Ты просто как охотник, но охотник за движением. И потом, конечно, они должны быть похожи, без этого работа теряет смысл. Да, хочу сказать, что когда начал работать в восьмом отделении (буйном), в итоге я не имел никакого свободного времени, потому что это «заведение», эта «работа» отнимала все силы.

Например, я в течение года или даже больше не мог избавиться от «запаха». Это особый «запах», не тот «запах», что исходит от животных, а какой-то такой — я не знаю, как его передать — это невозможно.

**” Это «запах» кентавра — человека и животного. Какой-то «букет», совершенно непередаваемый.**

Иногда он всплывает... Память «запаха» — важные вещи. Избавиться от него было невозможно. Постоянное напряжение из-за опасности, пять часов ты не можешь расслабиться, ты постоянно на взводе, не знаешь, что произойдет. Наверное, какой-то опыт вырабатывается у постоянных работников, какая-то самозащита. Но у меня она не выработалась, чувство опасности и страх постоянно присутствовали. И, конечно, было сострадание, но сострадание не напускное, а откровенное. Я с ними был в постоянном контакте. А это — несомлаемый осиный улей: гул голосов, криков, непредсказуемых движений, уродливых поз, зверских выражений лица, каждый занят собой, конфликты между собой, драки, процедуры, обеды, ужины... Есть больные, которые не отличаются крайним идиотским поведением, они совершенно нормальные с виду. Ты разговариваешь — обычные люди. И не знаешь, в какой момент произойдет слом... и тогда держись... я помогал, защищал, ухаживал, кормил, стриг, брил, выдавал курево, следил, чтобы с сигаркой не ушли в палату, разговаривал с ними, разнимал драки, мирил, укладывал спать, следил, чтобы было чисто....

И конечно, хотелось больных оставить в памяти — нарисовать, чтобы они остались на бумаге... Лица. Я жалею, что их мало в итоге получилось. Я не думал, что так все быстро закончится. Я проработал там пять месяцев. Потом о финале расскажу. Наброски, которые я вам показал, это просто маленький фрагмент. По именам я помню только некоторых, это Ося — Осип (который говорил, что ему тринадцать лет, а на самом деле было за шестьдесят), Василий-поджигатель, Муля, Одноглазый Джон и Женя—рецидивист, но его на этих рисунках нет. Остальных просто не помню. Еще какие-то наброски были мгновенные, небольшие, они есть на выставке. Они на каких-то бумажках сделаны. Я говорю, это был порыв: взять и нарисовать...

**Н.Л.:** То есть школа наброска у вас была.

**Н.Н.:** В общем, да ... куда-то ходил, что-то такое договаривался о занятиях, но в итоге было не до этого. Общался друзьями. Жил в девяти метрах, воевал с клопами. Мне в наследство от прежних жильцов остался диван... Потом я от них избавился, как-то вывел и стал по ночам спать.

У меня была походная папка, которую мы с отцом сделали, для рисунков. Единственная папка в мире. Ее, конечно, надо видеть, могу при случае показать. Небольшой этюдник, рюкзак, чайник, чашки, кастрюля... и вот эти рисунки. Работа начиналась с восьми. По-разному было, утренние смены и послеобеденные. Каждая смена — пять часов, этого достаточно. Можно было и две смены, но мне этого было не нужно. Оплата была средняя, тридцать рублей с чем-то. Хватало, и родители постоянно помогали.

Мне пришлось сделать две «художественные» работы. Нужно было вырезать герб Советского Союза из пенопласта для Доски почета, попросил Соловьев. И где-то поздней осенью он опять меня вызвал, говорит: «Тут к нам комиссия придет, палату идиотов смотреть, можешь там что-то нарисовать, какую-то „картину“, как в детском саду?» Я согласился. Стены в «палате идиотов» покрашены темно-зеленой масляной казенной краской от пола до потолка. Потолок — белый. Высота стен около четырех метров.

”

Помещение было супер-специфическим из-за запаха, грязи и вида больных, которые, как пауки, ползают, липнут друг к другу, сидят привязанные к лавкам, лежат в невероятных позах, ходят, как лунатики. Их тела искалечены, у многих из них текут слюни, они мычат, раскачиваясь в разные стороны, бьются головой о стену... страшное зрелище.

В сумасшедшем доме они с рождения. И вот на одной из стен нужно было написать «картину». Я думаю: что тут выдумывать? Была такая известная открытка: медведи в лесу катят бочки с медом. Я взял её за основу. И на мерзком грязно-зеленом фоне написал эту «картину» два на три метра: медведи, лес... а одну из бочек медведь уже подкатил к нижнему краю картины, и она вот-вот должна скатиться вниз, и на этой бочке я написал крупным шрифтом — «МЁД». «Картину» я написал быстро (в одну смену). Всем понравилось, я ушел с работы, а на другой день прихожу, в отделении — ЧП: «У нас, — говорят, — была кошмарная ночная смена...». Портрет Павлика Чумакова у меня есть (он в новой серии моих работ). Это был «конкретно» буйный, экстремальный больной, и очень сильный. Он чем-то провинился, а провинившихся сажали из буйного отделения вот в эту «палату идиотов», в наказание. Павлик увидел «картину», а он был грамотным, где-то учился (не знаю его истории и его сумасшествия), прочел слово «мёд» и выломал, отвинтил каким-то образом скамью, привинченную к стене (которую и гаечным ключом трудно отвинтить), и пытался этой скамьей сбить со стены «бочку»... Павлик хотел всех угостить, накормить «братцев» медом... Такое светопреставление персонал давно не видел. Они его обезвреживали тяжело и долго: забрасывали матрасами, обливали водой, в итоге утихомирили. И я увидел поврежденную, со сколами свою «фреску». Вот такая история, как бы веселая.

И трагичная история, которая закончилась, слава Богу, хорошо: был у нас больной Дима, спортивного баскетбольного роста... Ласковый, тихий, может быть, они такие все и бывают. Потом скажу, в чем было его отклонение. Он ко мне подошел в мою смену и говорит: «Ко мне мама приехала, она меня ждет в приемном отделении этажом ниже». Я ему открыл дверь, подчиняясь, так сказать, радости: это редкое явление, когда к «ним» приходили родственники. А так как работа — сплошная беготня, и ты постоянно занят: это принеси, тому положи в тарелку лекарство, поменяй белье, кормежка... — естественно, забыл про Диму. Как раз дежурил главврач, и он в конце смены говорит: «А где Дима, где Дима?» Я говорю: «Как Дима? К нему мама приехала». Тут мат хороший: «...Считай, что ты уже сидишь и получил срок. Ты знаешь, кто Дима?!» Я говорю: «Ну, откуда ж я знаю?!» — «Дима это невероятной силы человек, и он насильник... Плюс к тому — он бегун. Бегун и насильник. Так что все, — говорит, — шанс у тебя нулевой, но попробуй его найти. Больные знают, где „они“ „выходят“». Больные ко мне относились хорошо, уважали. Например, я забывал где-нибудь отмычку и не мог выйти из палаты в коридор, а это было опасно, могли напасть. По инструкции, ты должен, зайдя к ним в палату или столовую, закрыть за собой дверь, уходя, тоже всё за собой закрыть. Когда отмычка с тобой, ты свободно можешь выйти, но если нет... Ты обязан перекрывать двери. Но всё как-то обходилось.

**Н.Л.:** То есть это ручка была, да?

**Н.Н.:** Да, такая ручка-отмычка. Она терялась, я её иногда по растерянности где-то забывал. И тогда меня выручали. У нас проходили обследование два человека с зоны (косили они или настоящие были больные, неизвестно): вор (человек пролетарски-интеллигентного вида) и уголовник-рецидивист. Рецидивиста звали Женя, он был рыжий, с веснушками, сжатый как пружина, небольшого роста... Как звали [вора] не помню. И я просил этого вора открыть мне дверь. Могли убить. Если видели, что отмычки у тебя нет. Ты в их власти, не можешь убежать. Пока никакой агрессии ко мне не было, а такие случаи были. И этот вор мне открывал: «Ты, — говорит, — только отойди», и открывал дверь.

**Н.Л.:** А чем он открывал?



Портреты сумасшедших. Ленинград, ПНИ № 1. 1976 г.

**Н.Н.:** Я предполагаю, что у него была расческа. В портрете, который в этой книжке, я эту расческу нарисовал с ним рядом. Virtuoz, что говорить... Прибежал в палаты, собрал, кого мог, прошу помочь, спрашиваю «Где „ваши“ бегают?». И Витя, здоровый такой, толстый, рослый и агрессивно-реактивный, который в одно из дежурств чуть меня не убил — но это было потом, — выказал желание показать. И так как надо было действовать срочно и быстро, мы с ним пошли. Я взял папирос. Больные почти все курили. Курили «Беломор», и мы обязаны были при этом присутствовать (курили в туалете). Мы должны были везде быть рядом. Поэтому не зря один из портретируемых — «Поджигатель». Он хотел этот «дом» спалить, поджигал матрас, на котором спал. Мы с Витей пошли, он показал проем. Был летний жаркий вечер. Рядом с ПНИ № 1 был несанкционированный, стихийный городской пляж.

” Народу на берегу Невы было много. Когда мы появились на верхней стене и через проем вышли на стену ниже, пляж затих: больной сумасшедший и санитар на стене!

Мы прыгнули вниз (было невысоко). Идём. Народ расступается. Витя корректно мне делает замечание: «Сними пилотку, на нас смотрят!» Но мне было не до этого, я искал Диму. Витя, гигантского роста, одетый в униформу мышиного цвета, идущий походкой «Волка» из мультфильма «Ну, погоди!», вразвалочку... И я, в белом халате с пилоткой на голове (пилотку я потом снял)... Зрелище со стороны было впечатляющим. Было видно, что мы кого-то ищем. Все напряглись. На пляже стало тихо. Мы смотрели по сторонам — искали Диму. Прошли пляж по направлению к реке — Димы нет. Он был бы замечен своим высоким ростом. Идём вдоль берега, и вдруг я вижу через кустарник лавочку, на ней сидит парочка стариков-пенсионеров, которые вертят головами то вправо, то влево... Все обострено было до предела, и я увидел нашего Диму. Он ходил перед старушкой и стариком, жестикулировал, что-то говорил... Было видно — больной. А они, наверное, не могли уже от страха встать и уйти. Я подхожу к Диме, Витя рядом (никакого страха в данный момент не было, а было счастье: нашёл! и видно, что Дима ещё «ничего» не совершил...). И сказал: «Дим, мама к тебе приехала — пошли!» И Витя, пытая папиросой, подтвердил: «Да, Дим!». Если было бы сопротивление... Он бы меня просто размазал, это без вариантов. Но мы вернулись благополучно. Он тут же был арестован и заключен в «палату идиотов». Когда на следующий день я его увидел (Дима выглядывал через крохотное окошко-дырку в двери из «палаты идиотов»), он уже ничего не помнил, что с ним вчера было... Мило так улыбался... Такая вот история, которая тоже хорошо кончилась.

**Н.Л.:** То есть без обид все прошло.

**Н.Н.:** Да, можно и так сказать. Потом никаких проблем не было. Следующий случай, тоже серьезный и опасный — кульминационный. Он вошел в работу «Замкнутые в пространстве». «Драка в столовой» — «Белый» куб. Драка серьезная. Рисунки и наброски, сделанные в сумасшедшем доме, послужили матрицей, базой всего цикла... Итог этой работы — трехметровые кубы-ящики с маленькой дверцей-входом. Их два: «Чёрный» и «Белый». Кубы сборные. Каждый из них состоит из шести сторон. На стенах внутри — мощная фактурная, чёрно-белая живопись. Войдя в «Чёрный» куб, присмотревшись (освещение слабое), видишь чёрные стены, пол, потолок, из которых проступают огромные головы сумасшедших. Они нас окружают, давят со всех сторон. Это земляная пещера. В кубах очень тесно, отойти некуда, поэтому при близком рассмотрении в «Белом» кубе «Драка в столовой», где фигуры заполняют собой всё пространство стен, похожа на буран, метелицу. «Кубы» покрашены в белый и чёрный цвет, так выглядят они снаружи. Никакого «Чёрного квадрата» не было в замысле, когда я писал эти «кубы». Один из кубов, «Чёрный», участвовал на выставке «Путешествие черного квадрата Малевича» в Русском музее. Но это был игровой вариант, и он меня не устраивал. Название «Замкнутые в пространстве» нашлось не сразу. Отгородиться от жизни невозможно... В продолжение к «Кубам», как постфактум, я сделал эту книжку— объект...

**Н.Л.:** Про чемодан с книжкой вы развернуто скажите, пожалуйста, потому что-я-то знаю...

**Н.Н.:** Как я уже сказал, эта книжка — приложение к объекту «Замкнутые в пространстве». Сейчас всё это выставлено на выставке в галерее «Культпроект». После работы над «кубами» мне было трудно остановиться.



Был гребень, кульминация, а нужно было как-то всё это завершить. И я начал рисовать, клеить, писать сопроводительные тексты на листах, картонках... так появилась эта книжка-коллаж. Там всё перемешено, изображение хаотическое, неряшливое.

Страницы как барельефы разных форматов и этим «потоком воспоминаний» она передаёт дух того места, где я работал.

**Н.Л.:** Как она называется?

**Н.Н.:** Она называется... Не книжка сама, а объект называется «Чемодан бывшего санитара сумасшедшего дома». Все истории, которые я вам рассказываю, уже записаны на видеокамеру. Они смонтированы и записаны на диск. Диск приложен к «Чемодану». Что собой представляет этот объект? Это чемодан, он стоит на полу. Он закрыт. Но этот чемодан при случае — не просто чемодан, это чемодан-подиум. Когда его разберёшь и составишь, получается подиум, на котором можно разложить эту книжку и показывать... Два раза я выставлял книжку в развёрнутом виде, её можно было листать, читать, смзреть. Но она оживает, когда я сам показываю... и тогда я решил, чтобы меня записали на видео. На моей персональной выставке BLACK я так и сделал: выставил «Чемодан», он был закрыт, над ним висел монитор, где в закольцованном режиме шел мой рассказ и показ книги, записанный на видео Владимиром Пельдяковым, а на стене рядом с монитором с правой стороны висели в два ряда двенадцать рисунков, сделанных в сумасшедшем доме. Получился концептуальный видео-объект. Он явился своеобразным диагнозом и моим, и общества, в котором мы жили и в котором живем сейчас.

Я сейчас рассказываю, стесняюсь и вещи какие-то упускаю и забываю. Стараюсь что-то рассказать по-новому... На сегодняшней выставке видеопроекция идет на чёрную стену, стена большая. На полу в темноте стоит «Чемодан», он еле различим. В фильме на стене я комментирую книжку — похоже на кинозал. Проекция. Рассказ. С правой стороны на стене висят не оригиналы, а фотокопии рисунков: вот, что из себя представляет данный объект на выставке. В таком же виде он переедет в Петербург, где будут другие условия и другой контекст, и там он будет жить по-другому. Так что тема «кубов» этим объектом как бы завершена, что дальше будет — не знаю. Помимо этого, на тему «Сумасшедших» много сделано портретов, картин, композиций, написанных маслом, нарисованных. Вариантов этой темы очень много... (Я опять отвлекся). Как эти «кубы» появились? У нас была групповая выставка в Третьяковке, и, когда мы все собрались и стали решать, как нам быть, я представил свой проект. А у меня была именно тема «сумасшествия». Я предполагал сделать огромный иконостас. Это идея не реализовалась и вот почему: я других участников выставки подавил бы этим объектом. Я сделал щит-модуль, который и стал основой «кубов», по которому впоследствии «кубы» собирались и разбирались. Были проблемы вступления в эту новую жизнь нашу, «художественную, постсоветскую», а эти модульные конструкции помогли мне искать новые средства выражения. Они разбирались на сегменты, из которых можно было делать многочисленные вариации данной темы и моделировать каждый раз всё совершенно по-разному. Но в тот момент, когда мы обсуждали на нашем собрании (нас было человек восемь-десять), вопрос стал ребром. У меня черный цвет и довольно эмоциональная живописная экспрессия, я должен был подумать о соседях. И я решил, замкнуться, не мешать другим. Жизнь диктовала условия, и они явились родоначальниками «кубов».



Идея проекта «Замкнутые в пространстве» — изолироваться от «жизни» нельзя.

Я благодарен, что Василий Церетели нашел место «кубам» в своем музее (после моей выставке BLACK), они сейчас оба там.

Сейчас мы подошли к ключевому моменту, к драке в столовой. Была моя смена, шла кормежка, обед. Заезжает «походная кухня» (железная тачка-телега на четырех колёсах, типа железнодорожной на которой возят багаж), на ней баки, кастрюли, бидоны, миски, половники, ложки, тарелки, кружки, нарезанный хлеб... её везут, толкая сзади медсестры-повара-раздатчицы, я им помогаю. Мы все в одной упряжке, тачка-телега ставится в центре столовой. Я и мои помощники: Муля, Джон, Павлик, Дима... — должны быстро разносить тарелки, миски с едой, которую повара быстро разливают по тарелкам. Вор и уголовник сидят в самом хорошем месте, в левом углу. Вся столовая у них, как на ладони, театр. Это короли, их обслуживали в первую очередь. Сумасшедший дом, это — тюрьма, лагерь, те же законы — власть сильного. Можно снять документальный фильм, но не факт, что получится. Трагичнее всех состояние сумасшедших и сам «дом» передал Ван Гог в своих картинах, портретах, пейзажах. Сумасшедшие лишены разума. Их жизнь предельно откровенна, наивна, груба, они болеют те же болезнями, что и мы, и также умирают... Они — это мы, только вывернутые наизнанку. Это сейчас я так говорю, а в тот момент ты должен действовать, работать, вдыхать-выдыхать, раздавать, следить, чтобы что-то не произошло... Но — произошло. Они люди свободные, ограничений в поведении у них нет. Еда — это «пожирание», и каждый это делает по-своему. Но в данном случае одноглазый Джон, очень хороший помощник, сильный здоровый парень, а сосед у него по столу, как сейчас говорят, в полном «неадекватности». Он жрал всё мгновенно, что было под рукой, не глядя, сгрёб кашу с тарелки Джона и заглотил... Одноглазый Джон, увидев пустую тарелку, тут же, не думая, ударил — не того, кто сожрал, а другого, подвернувшегося под руку. И началась драка... Две поварики-раздатчицы тут же легли на пол.



Драка в сумасшедшем доме — это освобождение. Полетели тарелки, миски, ложки, остатки еды... летящая тарелка — очень опасный объект...

**Н.Л.:** А тарелки железные наверняка.

**Н.Н.:** Сейчас не помню. Нет, были разные. Была и керамика... не помню. Но вилок точно не было. Выйти я не имел права, помощи никакой, хотя персонал всё видит через стеклянную дверь. Ждут... Это было моё посвящение.

Н.Л.: А сколько человек персонала было в комнате?

Н.Н.: Один.

Н.Л.: Вы один.

Н.Н.: Санитар всегда один (поварихи мне не помогали, их не хватает. Где их найти, на такую работу? Были лимитчики, студенты подрабатывали. Санитары делали черную, тяжёлую работу. Можно было бы, конечно, учиться, мне предлагали: «Зачем тебе Академия, поступай на медицинский, тебе такая рекомендация будет!»

В общем, никакой помощи.



И, да, одно оружие есть (у санитара ничего нет, он безоружен) — полотенце.

В сумасшедшем доме используются вафельные полотенца. Они есть у каждого больного. В столовой полагалось полотенце. Санитар, который ушел на пенсию, мне показал, как им пользоваться в экстремальных ситуациях. Нужно зайти сзади. Набросить полотенце на лицо, при этом нижний край полотенца должен захватить часть горла, а концы полотенца, которые у тебя в руках, быстро перекрутить в «косичку». Закручивая «косичку», придавливаешь сонную артерию, и тогда больной слабеет... Джон был эпицентром, он был здоров, я получил крепко. Он сбил меня с ног. Но мне удалось как-то до него добраться. И я не помню, как, но это произошло, удалось набросить полотенце, я тоже совершенно уже озверевший был, и некуда деться — ты заперт.

Н.Л.: И никакой подмоги.

Н.Н.: Нет. И вот здесь произошло — мне никто не рассказывал об этом, а это характерно — драка кончилась, мгновенно наступил мир.

Н.Л.: А сколько по времени?

Н.Н.: Я не знаю. Я не бывал в таких переделках. Мне казалось, что все произошло в секунду. Время остановилось. Для наших «косарей» это было развлечением, они сидели и смотрели... Я держу «косичку», Джона взяли за руки, ноги и понесли. Он уже совершенно спокойный и ослабевший. Дверь открыл инструктор, очень серьезный молодой человек, учился в Военно-медицинской академии, говорит: «Молодец! Все получилось, теперь несем». В дальнейшем я должен все это делать сам. Джона несут. Это было похоже на лубочную литографию, когда кота куда-то везут мыши. И несем мы его в палату идиотов. Заходим, проходим в ванную комнату, в ванной плавает кал, в общем, грязь полная. Работа в «палате идиотов» трудная, грязная и мало оплачиваемая. В Ганнушкина было тяжело. В Борисоглебске — средне. Здесь был полный ад. Инструктор (не помню, как его звали) говорит: «Сколько дадим простыней?» Я спрашиваю: «Что это такое?» — «Сейчас, — говорит, — узнаешь. Ну, сколько: двадцать, пятнадцать?» Это древний метод, он использовался у всех народов, во все времена: вода и холод. И в данном случае взяли грязные использованные простыни и бросили в ванну с плавающим калом. Замочили. Больные ждут, для них это тоже большое развлечение, многие участники драки здесь. Помогают. Все уже знают, что делать.



Четыре человека берут мокрую простыню, растягивают за углы, расстилают на полу, кладут на неё «буйного» и начинается заворачивание. Джон уже успокоился, улыбается.

Польский актёр гениально играет такого счастливого идиота, также «блаженно» улыбается, как и Джон, в фильме «Дежавю». И мы его заворачиваем. Сколько дать простыней? Если двадцать, то мокрая простыня прилипает к телу и получается железный по прочности каркас, запелёная мумия, кукла. У меня есть такая работа — спеленатый Джон — он у меня, как воскресающий Лазарь... Затем завёрнутого одноглазого Джона поднимают, несут, кладут на железную кровать и мокрыми простынями привязывают, пригвозждают его к этой кровати. Пошевелиться он не может, только крутит головой, вращая глазом, и блаженно улыбается... Он абсолютно обесточен. И ему на голову начинают лить холодную воду...

Вот другая история. Как раз была моя смена, я — новенький, 7-ое ноября. Персонал удален, только дежурные, народу никого. И больные это очень чувствуют, это состояние. В общем, экстремальная ситуация. Буйство нарастает, хаос, возбуждение. В этот день им устраивали концерт, приезжали какие-то выездные комиссии (такие были), и перед этим выездным концертом туда отбирали самых надежных, спокойных, от каждого отделения по десять—пятнадцать человек.

*Текст авторизован Н.Н. Наседкиным.*